

76
Делать у меня
было много
всего

Ясная Поляна и Астапово

(из двадцати перепечаток с д. 11:9 77; 11:9 1 270x210)

Ясная Поляна и Астапово — ипатье говоря, какъ пень и ушеръ толстой: пень огромный и дано бы чистый не обривавшийся ^{расчитывать} притязатель ^{на немых страницах} посылу что же предоставляется в мое распоряжение такъ лишь удасть не то, что испортить, но хоть да не ^{только} нажить хоть с какой нибудь полнотой то, что Ясная Поляна и Астапово говорятъ вселю намъ, воспитавшим на Толстой. Но никто не подчасъ: самъ Толстой ороменъ. Не только в русской, но и в мировой литературе не много найдется писателей, которые, по огромности своей, могутъ сравниться с Толстой. Если же все таки я рываюсь, при такихъ условияхъ, говорить ^{о немъ} (предъ вами), то не забыть, что въ показанъ жизнь, творчество и смерть Толстого — а именно, что въ наплыве ^{Ваня} о писавшемъ среди насъ необходимомъ основанъ, о тѣхъ боренияхъ, которыми была полна его душа и о тѣхъ слодахъ, которыми эти борения оставили на его произведении. Наша всаго ^{о немъ} посвящена памяти Толстого: сегодня мы все влѣтѣмъ вездѣ бегоду о немъ, а за тѣмъ каждая изъ насъ въ отдаленности будетъ его переживать и о немъ думать.

Ясная Поляна для насъ связана какъ бы органически съ „Войной и Миромъ“, хотя въ сущности все почти, что Толстой писалъ, онъ написалъ въ Ясной Поляне — начиная съ „дѣтства и отрочества“ и кончая „Смертью Ивана Ильича“, „Крейцеровой Сонатой“, „Азачномъ и Работникомъ“ и вѣщи его религиозно-философскими сочинениями. Но въ одномъ отношеніи „Война и Миръ“ стоитъ особо отъ всего другихъ писаний Толстого. Даже и теперь, когда — въ которой уже разъ — переживаемъ „Войну и Миръ“, невольно вспоминаются слова Пушкина о Моцартѣ: „какъ тѣмъ осерувимъ опъ пѣсню о рабѣ въ пѣнь пѣсню райскихъ“. И даже тогда больше: иной разъ хочется повторить ^{и тѣмъ} то, что сказано о св. Покрове ситурѣ его учителя: „написавъ, что въ его душу ^{и тѣмъ} не сохранилось“

1) Разъ, произнесенная въ заседании Религиозно-Философской Академіи въ харьковѣ, посвященная памяти Льва Толстого — въ декабрь 1936г.

Молетой - керувач, запесний кь намь, знавший лишь скудную
 пещи земли, нмсколько райских пещей, онь, какъ Вонавентура, дос-
 тот Seraphicus, со души не коснуся прокъ нашего правнця, онь
 слышитъ и понимаетъ торжественное "добро зело", которымъ возо-
 ваетъ Пворецъ, когда на создаваемой имъ миръ, какъ сплалъ и почи-
 малъ ^{это} первый человекъ, претиде, чьмъ соблазнили плодами съ запрет-
 ного дерева. Ужасы, какие потрясающие ужасы жизни его не страша-
 ютъ пахнувшихъ въ себя силы, чьмъ продолжать какъ угодно дѣла, отвѣ-
 тить на какъ угодно вопросы. Коридорская дитва, безвременная и
 мучительная смерть князя Андрея Болконского, безвременная расправа
 французовъ съ заподозренными въ погромахъ русскими и все прочее
 въ такомъ родѣ, что всегда сопровождаютъ войну и что на каждаго
 тату вѣтрываются и при томъ назовемъ нормальные условия
 человеческого существованія - все это Молетой не слышитъ, наоборотъ
 какъ бы будитъ въ немъ новые творческие силы. И это не потому
 что онъ меньше чувствуетъ и меньше невидитъ эти ужасы, чьмъ
 другие люди. Наоборотъ, онъ ихъ чувствуетъ какъ никто: никогда
 страница "Война и Миръ" свидѣтельствуетъ объ этомъ. Кривду
 лишь одинъ небольшой примѣръ, ^{то} чьмъ хотѣлъ какъ-то осветить
 въ вашей памяти, какъ подходилъ Молетой кь темъ названнымъ
 проклятымъ вопросамъ нашей жизни и въ какихъ таинственныхъ и
 таинствъ рожденихъ наиболее дорогихъ для него и наиболее чуждыхъ
 для насъ матерій его.

Нберъ Безуховъ былъ приговоренъ французскими военными судами, вмѣстѣ
 съ другими русскими, заподозренными въ поджогахъ, къ расстрѣлу.
 Расстрѣланы не были - только лишь человекъ, чьмъ показанъ примѣръ
 строгости остальныхъ, въ томъ числѣ Нбера, пощадили. Но пощади-
 ли лишь въ послѣднюю минуту: Нберу пришлось присутствовать
 при расстрѣлѣ товарищей по плѣну и видѣть своей очереди. И вотъ
 въ какихъ словахъ Молетой передаетъ то, что испиталъ Нберъ: "о той

минуты, когда Пьер увидел это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, во душе его как бы была выдернута пружина, на которой все держалось и представлялось живым и все завалилось в одну бессмысленную сорю. Во всем, хоть он и не отдавал себе отчета, упреждались бора и во благоустройство мира, и вочеловеческую, и во свою душу, и во Бога. Это состояние было испытываемо Пьером и прежде, но никогда с такой силой, как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения, сомнения эти имели иррелигиозный характер собственной вине. И во самой глубине души Пьер тогда чувствовал, что от той или иной и тех или иных было спасение во самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился во его глазах и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере теперь не во его силах.

Матвей не любил Шекспира и, как ^{известно} ~~он знает~~, издавал над ним. Но во этих словах, он, того не подозревая, ^{потерял} ~~самую~~ самую глубокую, самую заветную мысль Шекспира. Там же, когда ~~увидевший~~ ^{увидевший} ему друг окончательного убийства его, что отец его был первой женой, который теперь стал мучить его матери, восклицает: "она связала время, заковала же я связала ее рождение!"

И у Толстого, точнее у самого Шекспира, на его глаза вдруг "завалился мир" и Шекспир чувствует, что собственными силами ему не дано вернуть себя вору во жизнь. Это же делать, что делать? Вопрос "что делать?" неотступно стоял перед Толстым во течение всей его земной жизни и им, только им, представлялось и направлялось все его творчество. Для Толстого - даже во молодости - писательская деятельность никогда не была литературой т.е. тем, что когда называют искусством ради искусства. Писания Толстого всегда являлись результатом и выражением напряженной, почти безумной борьбы с какими то страшными и беспощадными врагами, властью и присутствием которых он ощущал подлинной жизненной содразнью. Он мог бы о себе, как Лермонтов, во многом ему еще близкий и родственник, сказать:

Я зналъ одну лишь думу влать,

Огню, по пламенную, страсти:

Она, как червь во лже мила,

Изгрызла душу и соню.

Я эту страсть во тьму похвой

Вспомню слезами и тоскою.

[Эта страсть, эта влечуха, неизбежная тоска научила его ставить вопросы там, где для всех никаких вопросов не было, научила его и еще другому: ставить вопросы там и тогда, когда все наше существо изобилующим образом убеждено, что никаких вопросов уже ставить нельзя, ибо никаких ответов нет и никогда не будет. Можно прямо сказать, что райский пьесник, занесенный там херувимом Толстым, та все его дилекция художественного произведения - и не только "Война и Мир", но произведения последних лет его жизни - "смерть Ивана Ильича", "Крейцеров соната" и прочие не превзойденной "Дворянство и Работники", равно как и опубликованные после его смерти откровения незаконченных вещей - "Записки сумасшедшего", "Отцы и Дети" и т. д., родились из этой титанической и ожесточенной борьбы с всемогущим противником, которого не только победить, но и убедить нельзя. В этом загадка и - если уметь во внимательном и тоскующем и иже с ним таинство - в этом разгадка тоскобоянного творчества. Нога райского пьесника велика и не знающая конца борьба. Моисей бьет путь опять уметь совершить Лермонтова - слова из его "Письма к купцу Калашникову": В ясное, веселое утро народ собрался поглядеть на цирк, на веселую содаву - на купатный бой на Москвитин-рвех: в старину москвичи были охотниками до таких боев. Но там, ^(идея) все - франсы и одне из участников боя - педан и искали веселого развлечения, там предстояло и произошло совсем другое. Вот какую роль играет в своем произведении купец Калашников:

И правду ты скажешь истинную:

во ономъ изъ насъ будуть папихвду нѣтъ,
и не поше, гѣмъ завѣра, въ насъ пошуденикъ.

Не шумки шумитѣ, не шодси сѣмшѣтѣ

Къ тебѣ въплоть я, Бусурманскій свѣтъ,

Вотсель и на страшный бой, на последний бой.

Толстой получил в писаньи присутствие какою-то страдания, отбрасывающего и безмерно могущаго противиться и бороться съ нимъ въ страданияхъ и послѣдней боя. Въ этомъ, говоритъ азамъ Гегельская, доля пафоса, въ этомъ нѣтъ видѣть истиннаго восторженія, которымъ одушевлено все, нѣтъ написанно. Толстой, послѣдній великій философъ древности, божественный потомокъ божественнаго Платона, безъ малата ла двѣ тысячи лѣтъ до Толстого и Лермонтова такъ опредѣляетъ задачу философіи, которую онъ сознательно отпослѣдствилъ съ собой, тѣмъ въ писаньи называетъ „единство на потребу“ : великая и послѣдняя борьба предъстоитъ человеку съ силами природы. Толстой могъ бы взять эти слова какъ девизъ всей своей писательской дѣятельности. Если бы въ моемъ распоряженіи было достаточно времени я могъ бы (вамъ) подробно разска³⁴зати исторію великой и послѣдней борьбы, которая началась задолго до „Войны и Мира“ и закончилась въ Астаповѣ. Теперь я могу (вамъ) только напомнить одинъ изъ моментовъ этой борьбы, описаннаго со свойственными Толстому неподражаемыми мастерствомъ.

Или поспешно, что расстреляны русские пленники произволом на кресте подавляющего, уничтожающего впечатления. Крест больше никакой надежды, все похгло, все пропало, мир завалился: ни в себя, ни вне себя — никуда кресту спасения. И вот — в ночь того же дня, когда крест с такой беспощадной очевидностью убедил, что все мир, вся жизнь — только безумная, бессмысленная, отвратительная картина, в эту ночь когда, казалось, уже окончательно и навсегда потеряны всякая надежда, всякая вера — с ним прощальное, почти такое, что обозначения его и не могу подобрать другого слова, кроме тьма. Опять приведу несколько строчек из „Войны и мира“

после расставания с Платоном Карамаевым, которого Нверь впервые встретил в Балагане для покупки постельных принадлежностей, он, как и остальные его товарищи по заключению, устал спать. „Карусу, рассказывает Молотой, слышавший где-то вдалеке плач и крики, но в Балагане было тихо и темно. Нверь долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к шороху Храпота Платона, лежащего рядом с ним и чувствовал, что среди разрушенного мира теперь с новой красотой, на каких-то новых и необычайных основаниях, возникает новое”

Если мы сопоставим и внимательно взглянем на то, что произошло с Нверем в течение одного и того-же дня, даже в течение нескольких часов одного и того-же дня, мы будем несомненно поращены от крайнего оптимизма, от совершенного, окончательного превращения в мир, людей и бога, от превращения в твердую, прочную, надежную веру в мир и его Поворота. Читая эту и последующую главу „Война и мир” иной раз кажется, что Адам не только не сопротивлялся в душе Молоту, но что Адам никогда сомневался и не касался плодов с запретного дерева, что в мире нет и не было греха, что мир вообще не нуждается во зле и что, если хотите даже соответствующая приватной нашей материальной теории и дуалистическим, вращением, что у нас, смертных и слабых людей, есть достаточно мощи, чтобы собственными силами воспринять разрушающиеся на наших глазах мир. Человек величественно стоит над всем законом, он его легко преодолевает. Он и разрушает, он и создает мир и он все находящееся в твердом состоянии начала, на котором держится и будущее во всем в своем развитии и величии созданных им миров. Эпилог „Война и мир”, Эпилог не ~~содержит~~ ^{содержит} в написанной книге, а представляет собой апофеоз Человечеству, как полновластному познанию бытия, обнаруживающему среди нас, какую колоссальную задачу поставив перед собой: он не может успокоиться, пока не увидит

себя и друзей, что наша жизнь прекрасна. „Война и мир“, таким образом, является не теодицеей, а оправданием Бога перед человеком, а оправданием человека перед самим собой. Это и было поводом многим сравнивать „Войну и мир“ с гомеровскими „Одиссеей“ и „Илиадой“. Человек живет на земле светлыми, радостными, поэтичными и чистыми, никакие ужасы жизни не могут ни смутить, ни встревожить его. Писатель, который так говорил, был в значительной степени прав. „Война и мир“, по проникновенности и настроению, действительно напоминает нам бесмертный гомеровский подвиг. Жизнь на земле оправдана и оправдана ее человеком, эту жизнь сам создатель и утешитель, радостно ее принимающий. Кто, кроме Гомера, в поэзии пылкого, не держался с такой уверенностью и с такой — к тому же спокойствием — вглядываясь в жизнь о лежащей в самой основе бытия вечно гармоничной. Замок „Война и мир“ — равно как и исполнение задуманного — поэтически грандиозно и почти единственно в истории человеческой мысли.

И все-таки Толстой не Гомер, как „Война и мир“, равно как и постигающий за ней и достигавший ее бытие с продолжением „Анна Каренина“, не „Илиада“ и не „Одиссея“. На мозаике Толстого мир, по видимому, все же никогда не забывался и ему не приходилось из развалин воссоздавать единое и гармоничное целое. Это мир был создан не им, не им бы создан и красота и гармония мира — все это пришло к нам от азатского Бога, от демидра, но от Бога, от доброты, которую Толстой воспринимал бытие и на земле, но уверенно считал всемогущим. У Толстого такой пафоса и такой уверенности не было. Он сказал нам о Нерве: „он чувствовал, что воспринимать в мире не было в его власти“. Но если бы в мире такая была бы сила, которая могла бы вернуть ^{взвешу} человеку, на мозаике которого изображен мир, который своим мозгом видит то, что видел у Толстого Нерва? В „Войну и мир“, как и в „Анна Каренина“

8

Точкой заточения знойт вопрос въ ту область, въ которой они могли
 будучи да терпели свой смысл, свое значение и свою настоятельность? ~~В~~
 въ области действительного или воображаемого, какъ теперь принято
 въразумѣнны. Образцовъ сими и самого Нера Безумова и Николая Ростова,
 а потомъ въ „Дни Корсакова“ ^{Левина} дописана удобовѣрный, что та-
 кие вопросы сии вопросы праздные. Левинъ „точно нѣтъ възвѣщающа
 замлю“, а о Ростове Толстой говоритъ: „дошло послѣ его смерти въ на-
 родѣ произошла надобная поправка въ него“. Предъ чичомъ толстымъ ^{вдохновенный}
~~проспавши~~ семей близкородственны изъ отведенной или области бесознатель-
 нато трозны и фокусныхъ вопрошаний камирицируютъ какъ предвзвѣ-
 ной, пресмыкнутой думѣ и мечтаетъ, на который отъвѣчаютъ уже не добо-
 рыми разума, а физическою силой, той силой, которая не остано-
 вливается и предъ братоубійствомъ. Нера, который, вернувшись изъ Петер-
 бурга, съ ужасомъ и подготовленнымъ разсказомъ о заведенныхъ вражде-
 бныхъ въ Россію порядкахъ, Ростове рѣшительно отбываетъ: „показано я
 тебя не могу. Тебѣ говоришь, что у насъ все свѣрну, а этого не вижу.
 И вѣдь мы ^{царь?} ~~Нера~~ идѣи на васъ (т. Нера и его петербургскихъ друзей) въ
 задропомъ и рубить-ки на сенуру не задумано и пойду“. Вотъ на каки
 неадекватны основаніяхъ держатся созданной Толстымъ въ періодъ „Война и Ми-
 ра“ миръ и его красота. Вотъ что дало Толстому возможность продолжать
 сочиненіе и возвратиться къ вѣрѣ, которую Нера утратилъ, послѣ того какъ
 ему пришлось бѣжать въгнѣтѣленъ въѣрской и отъвѣтственной расправа со
 нѣтъчными. И съ откровенностью и искренностью, никогда его не покидав-
 шими, онъ разсказалъ объ этомъ въ эпизодъ къ своей удивительной подлин-
 не заглавномъ впередъ и не заглавномъ, къ чему ~~жизни~~ признаній могутъ
 привести его. Ии, можетъ быть, онъ именно потому это разсказалъ, что
 въ глубокихъ тайникахъ души своей онъ предчувствовалъ, что несетъ съ собой
 такое признаніе. Можетъ у человека должно предостерѣнъ вѣра, которая зо-
 вѣтъ къ братоубійству и надобно беречься памяти твоей, что цѣной
 братоубійства покупаетъ зарплату злого существованія? И сѣе-ли

Работники являются идеологией ^{мировой} литературы. Также это правило
сказано, что они отказались от художественного творчества исключительно по-
тому, что овладевшие ими бездомности и проливая все его существо в про-
нах тревожа ^{судьбы} в его глазах печальным и печальным свет, что пре-
дсказано казалось возникать и значительным - и, прежде всего, его литера-
турной дар. Но не, по видимому, что произошло в душе Толстого, проис-
таго в оном второй том "жизни души". "Исповедь" Толстого (оста-
ни сказать, также идеология литературного творчества) не оставляет в
этом никакого сомнения. К величайшему недоумению и ужасу тех,
кто знает, кто был и любил произведения автора "Война и Мире", Толстой
на глазах у всех разбивает чудесный и прекрасный, на котором он с
таким неподражаемым искусством стоял, чтобы исполнить свои личные
миссию и его творцу. "Все, что я говорил, - заключает он в драматическом
волнении и сдержанном чувстве толстого, - все было ложью и противоречием.
Никто не знал, ни во что не верил, но я хотел добиться славы и
богатства и при этом всезнающего учителя" - таково, в кратких
словах, содержание "Исповеди". Очевидно, что ^{он} ~~приходит к~~ ^к ~~своему~~ ^{здесь} ~~своему~~ ^{здесь}
предостережению ^и ~~лишь~~ ^{еще} ~~лишь~~ ^{еще} ~~возможности~~ ^{здесь} ~~подробно~~ ^{здесь} ~~описано~~
сказать на том, что имеет откровенность толстовская "Исповедь". Она
словно является обвинением на приведенном выше своем Толстого: "горе-
жить не могу, но, если ты не покорись, ^{зарубит} ~~буду рубить~~ тебе, как ты
и мой брат". Оправдание мира и творчества, держащееся в тошнотливой
рублике, теперь представляется Толстому отвратительным кощунством
и, можно сказать, он бросается к св. писанию, к Евангелию, ища там
спасения от душившего его кошмара. Он сам пишет: "а бы сказать
неправду, если бы я сказал, что я разумыл прищеп ко твоему, из твоему
и прищеп". Но на ряду с тем же мы читаем у него и другое призна-
ние: "я готов был, говорить он, теперь принять великую веру, только
да она не требована от меня прямого отрицания разума, что было бы
ложью". Откуда пришло это ограничение и что оно значит? Кто

подсказав, кто впустил Ломоносова, что только такая вора пригласили, которая не спорит с разумом? И почему вора, не покоряющуюся разуму, есть понос? Для нас глупец неспер, через двести лет и в том же смысле смерти Ломоносова, вопрос тот же и в том же смысле, которое он писал и для самого Ломоносова. И если бы (одна) глупец искренностью и личностью Ломоносова, то бы и теперь с такой же настойчивостью и с такой же страстностью повторили бы то же самое, сколько эти высказанные слова. Когда мы идём к смерти, в том же, когда мы встаём и идём к смерти — единственному источнику истины. Истина — мы все предусмотрительно захватываем с собой то критерию истины, которая выработана нашим разумом. Такие были на Западе — величайшие мыслители Европа, Декарт, Лейбниц, Кант, Шеллинг, Фихте, Гегель, так и полагали, так было и в России. В. Соловьев, всегда обвинявший рационализм, ^{авторы} ~~также~~ „критика Западно-европейской философии“, ~~он~~ откровенно исповедовал, что религия должна искать и находить свое оправдание у разума; много есть религий, говорит он, повторяя Лейбница, где, как не у разума, узнать мы, какая религия истинная? И никому из нас не приходит в голову, что ища поддержки и защиты вере у разума, мы тем самым предаём веру, поддаём величайшему соблазну (о чём же сказано „власть, кто не соблазнит вас во мнѣ“), ибо всякая защита есть защита посредством принуждения, и держится только ^{чужой} державой Фроловых и со всеполнотой правды Ростом. Буду рудить. Толстой с полным основанием резко критиковал масонское христианство, рассказав о том, как молодой преподаватель, имевший нищету, на его вопрос, читает ли он Евангелие, победоносно ответил: а ты воинский урядник? Но, ведь преподаватель был прав: воинский урядник не требует оправдания от разума, а Евангелие требует. И в этом отношении не страница из Евангелия, которая всегда так контрастно влекла к себе Ломоносова. Толстой с успехом и восторгом повторил слова Христа: а я вам говорю — не противься злу. Но как

их оправдать предъ разумомъ? Не только сиюдашнее училище — самъ Вл. Соловьевъ принужденъ былъ признаться, что разумомъ никакъ не оправдано евангельское „не противься злу“, а т.к. не оправданное разумомъ ничто уже себя оправданія не найдетъ, то конечно, не постыжась ни слова придется въпрямую изъ писанія и заимавшихъ ихъ соответствующихъ словъ выискать утѣшу: раба. Соловьевъ въ своемъ „Оправданіи Добра“ даже колеблется оправдывать, даже восхвалять войну.

Но и Толстой, не смотря на то, что онъ всенгду рвется къ завету „не противься“, не можетъ никакъ пойти на то, что этотъ заветъ можно принять даже и въ томъ случаѣ, если онъ будетъ отвергнутъ разумомъ. „Религія“, пишетъ онъ въ 1902 году, есть установленное, согласное съ разумомъ и современными знаніями, отношеніе человека къ вѣчной жизни и къ Богу“. Но, что останется отъ писанія, если наравѣ со своимъ согласованъ съ нашимъ разумомъ и съ нашими знаніями? Естественно, что когда Толстой наравѣ согласованъ писаніе съ нашимъ разумомъ и съ нашими знаніями, оно оказалось отодвинути на второй планъ, почти превратилось въ роль, потерѣвшую свою силу. „Ученіе Христа, пишетъ онъ въ своей книгѣ „Вѣрны ли мы втора?“ является самымъ противъ, самымъ, практическимъ смѣломъ для жизни каждаго человека. Этотъ смѣлъ можно въразумить такъ: Христосъ училъ людей не бояться злыхъ силъ“. Разумъ, слыша такое, конечно торжествуетъ: онъ получилъ свою долю полноты. Но, вѣдь и до Христа философы, моралисты и прочіе учили людей учить тому-же. Захотѣлъ же вспомнить писаніе? Толстой и самъ это скоро почувствовалъ и выразилъ это по своему съ вѣрою и смѣломъ въ своихъ Богомыслихъ соображеніяхъ, въ особенности въ „Критикѣ догматическаго Богословія“, по своей ученической конвульсивности не останавливаясь отъ писанія Вольтера. Разумъ сдѣлалъ свое дело: отъ писанія не осталось и следа. И съ какою же радостью Толстой все съ болѣющимъ и болѣющимъ опосредствомъ опирается на писаніе. Больше всего въ писаніи раздражаетъ сына и сына насъ, просвѣщенныхъ людей — какъ разъ то, что составляетъ

зуту: вѣра. И именно потому, что вѣра истинна, проходящая мимо и
нашего разума, и нашихъ знаний, не заботясь иль и совершенно со нами
не считается. Въ послѣдней пьесе мы читаемъ такой разговоръ между
посп; Николаемъ Ивановичемъ (самого толстого) съ деревенскимъ священникомъ:

~~Ник. Иван.~~ — Священникъ. Разумъ можно обмануть, у всякого свой разумъ.
— Ник. Иван. Вотъ это-то у насъ такое чудо. Богу дано ^{одно} намъ священное
орудіе для познания истины, одно, что насъ можетъ соединить во единѣ.
А мы ему не вѣримъ.

Свящ. Да какъ же вѣрить, когда, чу, разномыслии это-ли?

Ник. Иван. Где же разномыслии? То, что дванца два-четыре и что дру-
му не надо дѣлать того, чего себя не хочешь, и что всаму есть причи-
на и тому подобно, мы признаемъ все, потому что это согласно съ
нашимъ разумомъ. А вотъ что Богъ открылъ на горѣ Синай Моисею,
или что Будда уяснилъ на солнечномъ лучѣ, или что Мазоловъ читалъ
на педѣ... въ этомъ и подобномъ дѣлахъ мы все врозь.

Знаю и понимаю мы законили бытъ правдивыми, мы все до конца по-
торили то, что говоритъ Толстой. Мы все убѣждены, что дванца-два-
четыре, что нѣтъ дѣйствій безъ причины, то утверждение, что Богъ откры-
лъ Моисею на Синаѣ, возбуждаетъ въ насъ всю силу глупости и тѣре-
шенія, на какую только мы способны. Нашъ разумъ и наши знанія возбу-
ждаютъ насъ не только признать, но даже серьезно обсудить такое. Ибо,
разъ дванца два-четыре, разъ нѣтъ дѣйствій безъ причины и т. п. ^{Смыслъ} есть
несомнѣнно, свято, самоотверженно истинно, то не можетъ быть никакъ
сомнительно, что Богъ никогда никому не открывался, ни Моисею на Синаѣ,
никому другому. И не пытайтесь спорить. На все, что вы скажете давно готовы
отвѣтить: это то, во что все, всегда и повсюду вѣрили, во что все, всегда и повсюду
дошли вѣрить, подъ уродами попалъ подъ судъ разума, который уяснилъ по
своему распорядиться съ ослушниками. Какъ говорилъ Достоевскій: „доказать и тебе
не умѣю... Но вели мнѣ Араксевъ идти на васъ съ эскадронномъ и рубить, и
ни на секунду не задумавъ“. Разумъ, такъ-же, какъ и Ростковъ „не умѣетъ

показат^{ль}, что онъ умнѣетъ рубить сѣки, что, вопреки закону приключен^{ия},
 вопреки двадцати двумъ теориямъ и прочимъ, чѣмъ подобно, истиннѣе, держитъ
 утверждать, что Божь открылся Моисею на Синае, что Божь вообще открыва^{лся},
 что сей откровенная истина. Разумныя доказательства - бы, въ по^{сл}
 леднемъ счетѣ, сводятся къ ростовскому „рубить“, самый смыслъ понятна
 доказательства исчерпывается ростовскимъ „рубить“. Философия этимъ не
 занимается и даже не хотѣтъ имѣть видъ ниско проблематическую. Чѣмъ
 кажется вполне естественнымъ, что истина стоитъ подъ охраной силы: бы
 ростовскъ союзъ меча и чирка.

Но у Толстого получилось другое. Зададимъ образъ, когда онъ на^п
 равился къ Асиану, онъ, хотя и заручился покровительствомъ разума и
 взял съ собою для безопасности и руководительства, какъ это дѣлалъ
 мось, не забылъ захватить съ собою еще одно средство, которое обрато
 у людей не бываетъ и которое Аберъ выразилъ въ словахъ: „онъ гдѣ-то божь,
 что въ обратномъ къ божь въ тѣхъ не въ его власти“. Но въ чьей власти?
 Меча? Физической, принуждающей силе? Во власти разума ^{истиннѣе, что} съ его ^{дѣйств}
 еба тебѣ, что являе дѣйствіе божь причина и т.д., т.е. опять таки въ
 власти практической расадровъ и ростовского „рубить“. Не только
 философскія, но и художественныя произведенія Толстого послѣднюю не
 рога даютъ намъ отвѣтъ на этотъ вопросъ. Съ величественной, одесоружа^{ющей}
 ватостью непосредственности, которой всегда отличался мось
 изобретательскія чужестества, онъ можно однимъ движениемъ плеча стре^н
 живаетъ съ себя, нахотенная на всю вънами брательна разума съ ео
 истинными и доказательствами. Въ писаніи онъ открываетъ, какъ су^щ
 щности и непреложное содержание, запостыб! не промѣняе зломъ,
 и онъ починаетъ, какую ответственность онъ беретъ на себя, такъ
 истинность, истинна, „Боже я не могу привнхнть, ницетъ онъ, въ
 той магии, что носилъ 1800 чужихъ исповѣданій Христава закона мичи
 ардамъ людей, носилъ тѣхъ людей, посвятившихъ свою жизнь изученію
 закона, теперь лишь пришло, какъ что-то новое, открытъ ^{законъ Христа} Христава закона.

Но как это не странно, это было так. Я оставил ^{очень} (одну со своим серд-
 цем и с типичной книгой пред собой". И точно - для нашего разума
 с его "дважды два четыре" и "все иль не иль" - не противился этому
 такое - все безумие, как и то, что Бог открыл Моисею на Синае. Боже
 мое, только тот Бог, который открыл на Синае Моисею, мой все-
 же против: не противился этому. Бог же "состыженный", рождающий наших
 разумов, знает другое: этому нужно противиться, злое нужно "рубить".
 Соловьев в своей полемике с Толстым превосходно обосновал это -
 алыми убедительными доводами. Да и в Соловьеве находилось не мало и
 добрых сил, которые, подобно, считали да и не хуже его. Ибо если на-
 речу доподлинно известно, что открывшийся Моисею на Синае Бог та-
 когоден в сущности и с нашим разумом, и с нашим знанием. Но
 Толстой заболел уже и от зрелища, и от разумных доводов ^а ~~его~~. Он, кото-
 рый все это так прославлял, без остатка, точно от чужого, отпустил
 от разума. Взяв лишь только наполненный в нем послужный произведе-
 ний Толстого - совершенно "Хозяина и Работника" и незаконченного "Отца
 Сергия". Оба эти рассказа оказались пророческими и, вместе с тем, не-
 обходимо в нас тайно, невидяще глазу, истинно истинного божествения.
 В писании рассказана притча о двух сыновьях: один сказал пойдю и не по-
 шель, другой сказал не пойдю и пошел. Толстой на совет писания ответил: ни
 пойдю. Так, по крайней мере, канителю, если брат его филологско-богословский ра-
 боты. Толстой всегда ^{как бы} держал сторону разума с его "рубить" и отрицал
 от "всего", который не располагает принудительными способами убеждения, на-
 чальство не защищено и защищаться не хочет. И нужно думать, что это в зна-
 чительной степени принесло ему еще при жизни славу, как и рождало, и неслучайно
 было никогда не выпадало на долю писателя. Но вся жизнь его, и даже писа-
 ния - если взглянуть в совокупности - говорят нам другое. Жизнь не было ему
 столь ненавистно, как Ростовское "рубить", и при этом - доказательство истин-
 ны. Все ^{духовное} существо его работало в показанной истине, в непротивлении.
 Доказательство истины было только ^{отвратительным} ~~страшным~~ врагом, "бугурманским" сыном, с

с которыми он вышел на последний и страшный бой. Еще раз повторю:
 он, когда повернувшись не пойдя - пошел. Лютер, в своем комментарии ^{помянул} к Рим-
 лянину, написавшего еще до его раскола с папой, пишет, что в ушах
 Господа самого ужасных проклятий и кощунств иной раз. Свуга же иначе,
 тем же торжественным аллилуйя. Къ толстому эти слова прилипли по пра-
 вильности. Он, с такими омерзительными воплями, вторя, "за пашею"
 ко дну до смерти, без всякой нужды, без всякой причины, без "достаточного
 основания", божится, сам не зная, куда - пока не добьется до Астанова.
 Зачем же вы повторяете? Обясните этого ползу и тоже нельзя доказать,
 что такое божество может быть оправдано, пока оправдание добывается
 этим путем. Но если вспомнить писание, в котором рассказывается, что были
 открыты Моисеем на горе Синай, может быть и обиделись и без оправдания и
 похвастываясь, что в Астанове заключилась великая доработка, главной доработкой которой была Ма-
 на. Главная доработка между обожествлением "руководя" и божественным "не противостоит", между
 принудительной и личной разницей (двукратная двойственность без признака и т.д.)
 и свободной и личной опровержением в сопоставлении по образу и подобию Гения теловича.
 Проведу еще небольшой отрывок из книги толстого о божестве, который особенно
 наглядно показывает внутреннюю связь между Аеной Поляной и Астановой.
 "Видя (христиане) могучие молитвы Христу-Богу, но не могучие думать о нем
 Христа, т.е. эти думы вытекают из веры, основанной на совете и личном
 опыте, потому что, которое они признают. Они не могут пропеть в сердце
 сугубенство сына, как это гуляло Авраам, между тем, как первым
 не мог даже задуматься над тем, приехать или не приехать своей семье в
 сердце Богу, т.е. Богу, который один даст смысл и благо его жизни. Как
 говорили, так думать толстой и это поначало его в Астанове. Да
 обдумается написанное? Авраам повиновался призыванию идти в страну,
 которую никак не мог получить в наследство - и пошел, не зная сам, куда идет.

Л. Местов